

---

---

Денис СОРОКОТЯГИН

# ПОЮЩИЕ РЕЛЬСЫ ТАЛДОМА

## Повесть

### 1.

Она когда-нибудь напишет книгу обо всем об этом, но пока она не хочет ее писать, пока все на уровне ощущений, а значит, почти ложно. Ей было непросто, наверное, будет еще хуже, и, конечно, будет лучше, в этом даже у нее нет никаких сомнений, хотя сомнение — цемент ее жизни. Без сомнения она бы распалась, ровно так же случилось бы, если бы она не сомневалась. Она распадается и чувствует это. Конечно, никто этого не замечает. Ей тридцать шесть лет, она хороша собой, хороша для себя даже в процессе распада. У нее все в порядке со здоровьем, она прошла диспансеризацию от института, в котором она работает старшим лаборантом. Эти подробности неважны, как бы их избежать. В ее будущей книге не будет магистрального сюжета и бытовых подробностей, это вряд ли будет кому-то интересно, кроме нее, она это понимает.

Эта самая лаборантская работа не ее потолок, напротив, это эскиз видимости хоть какого-то нормального жизненного устройства в ненормальном мире, это работа дает ей возможность думать в свободное от работы время (его до странного много), она не дает себя закрутить в водоворот сплетен и интриг, она исполняет свое дело добросовестно и в срок, приходит и уходит, приходит и уходит, ее лицо не запоминается с первого раза, она хороша собой, но не до фотографического припоминания, многие думают что она — бесконечная новенькая. Как и здесь в Талдоме. — Новенькая приехала — смотри на меня и не забывай моего лица. И ведь могла бы этим воспользоваться — нет, это не ее цемент.

«Как много в мире зла. Как много в мире зла», — повторяла она, когда ее обманули: она арендовала квартиру в Интернете, вступила в переписку с хозяйкой (миловидная женщина в обнимку с двумя сыновьями-подростками), внесла залог за одну ночь, ей должно было хватить только одной ночи в Талдоме, но хозяйка квартиры, мирно отвечавшая на сообщения, в подробностях описывая однушку в микрорайоне Юбилейный, испарилась, внесла ее в черный список, не давая возможности ответить, даже послать куда подальше. Не могла заблокировать чуть позже, после ответного предложения, женщина бы дала эту возможность, но под видом женщины был

---

Денис Андреевич Сорокотягин родился в 1993 году в Екатеринбурге. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Лауреат международных конкурсов вокалистов, чтецов. Автор учебных пособий для ДМШ и ДШИ. Режиссер, художественный руководитель «DAS-театра». Актер Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой. Публиковался в журналах «Знамя», «Сибирские огни». Живет в Москве.

какой-нибудь утырок (наверное), сосущий через трубочку чужие деньги. Подавись. Глобализация зла, легитимность зла — произносила она. Если ты не умеешь множить зло себе во благо, то ты недочеловек. Она — недочеловек, это все шептала обида. Вокруг война, а тут маленький плевок в душу в размере трех тысяч, это такая мелочь, но от этой мелочи по-прежнему гадливо, как и в довоенное время, притворяющееся мирным. Быть обманутой хозяйкой фейковой квартиры в Талдоме — об этом не споют рельсы, об этом не напишут книгу, только если какой-нибудь обрывок, такой, как этот. Она не была в Талдоме, о котором ничего толком не знает, двадцать лет. Сейчас ей тридцать шесть лет, в свободное от лаборантской работы время она занимается литературой, что-то пишет в заметках, вот этот обрывок она набрала в электричке, по возвращении из Талдома в Москву, но все, что она пишет, пока замуровано внутри, заблокировано, оно (ненаписанное) то ли зреет, то ли разлагается без запаха, может быть, она теряет время и зря надеется на его ход, а может быть, ее (книги) время еще не пришло. Пока же она учится слышать песни железнодорожных рельсов. Днем, выходя из электрички, она услышала разговор двух контролеров. Это были быстро лысеющие мужчины, по-видимому, накоротке с друг другом, их даже можно было принять за пару, они говорили друг с другом на «вы». В совокупности с наглаженной формой это производило на нее какой-то трогательно-оптимистический эффект, привет из какой-то другой реальности.

Первый контролер:

— Вы слышали, рельсы опять поют?

Второй контролер (вслушиваясь, блаженно прищуривается):

— Да... давно не пели.

Входит третья контролер, развозит руками:

— Из туалета река течет опять.

Второй контролер поет (голос неплох):

— Издалека в Талдом плывет река (ему не дают окончить, и вряд ли бы он подобрал подходящую рифму. Она, стоящая в тамбуре и смотрящая на это контролерское трио, не смогла подобрать).

Первый контролер вдруг снимает пиджак и начинает размахивать им, как тореадор, а быка нет. Третья контролер складывает руки на груди («нашел корову», думает), ждет шутку от первого контролера, тоже прищуривается и готовит рот для смеха (не описать, надо видеть).

Первый контролер (трясет пиджаком):

— Давай мне швабру — тряпка готова!

Могут ли за такое отношение к форме посадить? — думает она. Нет, не третья контролер, а Она — гостья Талдома, автор ненаписанной книги. Могут, конечно. За что не захочешь — за то непременно смогут.

Она сходит с подножки поезда. Никто не подал руки. Контролеры скрылись. Река течет. Рельсы молчат.

## 2.

До заселения в фейковую квартиру еще два часа (она еще не обманута, она хотела снять гостиницу, но единственная гостиница в городе была занята под завязку). За время поездки на электричке (почти три часа) она проголодалась и решила зайти в первое кафе, кажется, что оно было и первым и последним. Кафе специализировалось на приготовлении пиццы, суши и лапши *wok*, в основном навынос.

Она: скажите, что быстрее всего готовится?

Официантка (она же кассирша): пицца и роллы до тридцати минут, лапша — пятнадцать.

Она: давайте лапшу.

Официантка: какую?

Она: любую с курицей.

Официантка: в сливочном соусе устроит?

Она: да. И капучино.

Официантка: я машину мою (показывает на кофемашину).

Она: когда вымоете?

Официантка: не знаю... не сегодня... я второй промыв делаю.

Она: хорошо. Тогда кока-колу в баночке.

Официантка: кола «Добрый» только.

Она: хорошо.

Официантка: садитесь. Я позову, как будет готово.

«Официантка сама не подает, поэтому будет разжалована в просто „кассиршу“», — думает она. И это ее «ся» засело. До конца дня она будет добавлять его ко всем глазам — улыбнулась

Обернулась

Посмотрелась

Разочаровалась

Отвернулась

Увидела. Рядом за соседним столиком сидит группа подростков, точнее, группа, разделенная на три других, сформированных вокруг телефонов. Подростки смеются тиктокам, на столе (тотально) валяются разноцветные объедки: краешки пиццы, размозженные роллы «Филадельфия», точнее, то, что от них осталось, пустые бутылки с доброй кока-колой. Подростки синхронно ржут без какого-либо стеснения, а в спокойном состоянии (до взрыва смеха) их рты дебиловато приоткрыты. Вот и не скажешь по-другому. Это сказано даже мягче, чем оно есть.

Один из подростков: фу (тут другое слово), кто пернул?

Все резко разбегаются из-за стола. Остается только один полноватый парень в наушниках, который все пропустил и не вдупляет, почему вдруг все разбежались.

Один из подростков: это он! Он!

Парень снимает наушники и спрашивает: «Че случилось?» — и обязательно вставляет между словами то другое слово.

Она смотрит на них, ждет свою лапшу с курицей в сливочном соусе. Она понимает, что если бы Рабле жил в наше время, он бы знал, что делать с этими ребятами на страницах своих текстов. Ей не противно от увиденного, не стыдно (это все просто и ожидаемо), ей удивительно в самом высшем смысле этого слова: и ведь эти подростки ее видят, но для них она как предмет интерьера, как вот эта пластмассовая горка в детской зоне отдыха, куда подростки удалились после выяснения, кто же это кто испортил воздух. Это был тот, кто и задал вопрос (отработанная схема). Им по тринадцать-четырнадцать лет — думает она, хотя она никогда не могла верно определить возраст детей и забывала, сколько лет ей самой. Она не была в Талдоме шестнадцать лет. Вот эту цифру она помнила и уже от нее выстраивала систему других бессмысленных цифр своей жизни.

Кассирша: девушка, лапша!

Она: спасибо!

Лапша могла быть и получше. В Москве она бы и не стала ее есть (странный соус), но сейчас ела, доведя процесс до бездумного автоматизма. Вариантов нет. Добрая

кока-кола должна была убить ненужные микробы в ее желудке и поспособствовать пищеварению.

Вдруг одна из девочек с криком «У меня началось!» выбегает из детской зоны отдыха и бежит по направлению к выходу (там же находится и уборная).

Затем Она слышит такой диалог, сказанный отнюдь не шепотом, а так громко, чтобы та, убежавшая, тоже все слышала.

- Ты че не видела, она вся мокрая там.
- Фу, ты реально?
- Ну, у нее легинсы черные, поэтому ни хрена не видно.
- Капец.

Девочка (как назвать по-другому) возвращается: потная, испуганная, со странной улыбкой на лице. Один из парней (по-моему, тот самый в наушниках, но Она честно уже запуталась, глядя на них, они все слились для нее в одно страшное лицо с полуоткрытым ртом, на которое не должно хотеться смотреть, но оторваться и не видеть его ты тоже не можешь) спрашивает:

- Ты че, беременная? Тошнит тебя, что ли?

Взрыв смеха. Эхо от взрыва дикого смеха. Стены кафе отделаны армированным железом, и это эхо особенное, железное эхо.

Кассирша бросает свое безвольное:

- Так, быстро успокойся!

Это «успокойся» тонет в ржаче, так и не долетев до умов и душ юных посетителей кафе.

Убегавшаяся и вернувшаяся не заставила себя долго ждать с ответом и выпалила:

- Да. Скоро рожу. От тебя.

Парень в наушниках выматерился — да ну на... — и нахлобучил наушники, потом снова их снял и сказал девочке, как отрезал — е...я. Все замолчали и, видимо, согласились со сказанным. Никто не вступился. Прежнее веселье и вольготность мгновенно съелись произошедшим, подростки вывалились толпой на улицу, в зале остались только две девочки. Та, с которой случилась неприятность, и другая, по виду чуть старше, наверное, они были подругами, но та даже не думала ей посочувствовать:

- И че там у тебя опять?
- Третий день. А я ничего не взяла.
- У меня нет с собой, че ты так на меня смотришь?
- Он ко мне вчера приставал, а я сказала, что...
- Всё, хватит. Пошли.

Она поняла, что речь идет о парне в наушниках. Да она уже давно все поняла. Не доела лапшу, не допила колу, голод ушел, но пришла и «поселилось» в голове невозможность осмыслить увиденное. Наверное, и не надо пытаться. Это как в телевизоре: ты смотришь, понимаешь, что не хочешь «это» смотреть, переключаешь канал и видишь белый шум, переключаешь вперед, назад, везде белый шум, работает только один, тот самый канал с «этим», ты хочешь выключить телевизор, но кнопка выключения на пульте не работает. Тогда ты подходишь к телевизору и пытаешься его выключить, но кнопка на панели кем-то вдавлена. Тогда ты выключаешь телевизор из сети.

Она давно не смотрит телевизор. В прошлый свой приезд в Талдом она еще смотрела телевизор, искренне любила комедии на телеканале СТС и обожала пересматривать «Сабрину-маленькую ведьму». Но это все подробности и детали прошлого. Можно обойтись и без них.

Неужели она была такой же, как эти раблезианские дети-недети. Ведь мало, что меняется, она это понимала, но не узнавала себя — в них.

Она: девочка, извини, пожалуйста, можно тебя на минутку?

Девочка-недевочка робко подходит к ней, постоянно оборачиваясь на свою подругу-неподругу.

Девочка-недевочка (пряча за спину гигиенические принадлежности): спасибо вам огромное. Извините.

Девочка-недевочка пытается покраснеть, кажется, что ей немного, но стыдно. Она возвращается к подруге-неподруге, шепчет ей что-то, потом они обе прыскают смехом.

Она выкидывает коробочку с остатками лапши и бутылку доброй колы в мусорный контейнер и выходит из кафе.

### 3.

Она не знает, как выглядит Талдом весной, боится представить, как здесь зимой (она не любит холод и сырость). Шестнадцать лет назад был август, точно как и сейчас, природа пытается скрыть черты увядания, маскируется, припекает солнцем, камуфлирует неминуемую гибель. Да, затем снег, смерть снега и какое-то новое рождение чего-то нового, а то безвозвратно отцвело, но прежде успело многое. Вот и она должна успеть. В глобальном, космическом смысле. В бытовом до фейкового заселения — час, и она пошла в краеведческий музей. Она не хочет торопиться, это только ускоряет распад.

Каменное двухэтажное здание с кованым балкончиком в центре города, обвито виноградником (или каким-то другим обвивающим растением). Дверь, ведущая на балкон, открыта, тюлевая белая занавеска колышется, все пространство вокруг вдруг поэтизируется, не хватает звуков старинного фортепиано. Она так не любила манерную пошлость, всегда была приземленной, сомневающейся во всей этой напускной декоративности, но сейчас вся эта колышущаяся, вздувающаяся на ветру фальшь говорила ей: «Бояться нечего», и эта поддержка была такой неожиданной и «в точку».

По деревянной лестнице (ступени стерты от вековой эксплуатации) она поднялась вверх к кассе, купила билет по кюар-коду, выслушала милую женщину-смотрительницу об истории музея (три вводных предложения, наполненные гордостью). Смотрительница спросила ее:

— Вы из Москвы?

— Да.

— Все понятно (растягивая «я». Она так неприкрыто перешла из любезного регистра в брезгливо-вглядывающийся — столичная).

— Вот что тебе понятно, что? — спросила она саму себя, быстро переходя со смотрительницей на панибратское «ты»).

Она достает телефон, проверяет уведомления.

Смотрительница: у нас фотосъемка платная.

Она: сколько?

Смотрительница: сто писят.

Она представила сто писят, это представляется мгновенно, и, конечно, засмеялась. Смотрительница нервно дернулась, поправив заградительную веревочку.

Она: оплата также по коду?

Смотрительница: нет, переводом...

Взгляд смотрительницы говорил одно: все понятно, все понятно...

Наверное, в этом музее было много любопытного, но взгляд отказывался фиксироваться на чем-то. Как и прежде, притягивала занавеска (уже с другого ракурса, изнутри дома она казалась банальной и без капли поэзии, этим она ее зацепила даже больше, и фортепиано с коваными подсвечниками стояло рядом).

Заплатив за съемку, она решила фотографировать только себя, в разных ракурсах, с разных сторон, вырывая из контекста своей внешности то — уши, которые она всегда прятала за каре; нос, который растет, как выяснилось всю жизнь, и она этот рост замечает; высокий лоб, шестнадцать лет назад она пробовала его выбривать, приподнимая лоб еще выше, ей казалось, что это модно именно для нее, сейчас лоб как лоб, обычный высокий лоб; родинка на шее, она не боялась родинок; грудь, в которой ее тоже все всегда устраивало. Какие-то фото смазывались, и этим ей нравились еще больше. Так фиксируется ее распад, ее медленное, но верное размазывание по плоскости жизни. Смотрительница, которая давно «все поняла», теперь смотрела на нее с интересом, понимая, что только ей она может предложить взглянуть на сувенирную продукцию, «она — наш клиент», — говорила смотрительница, глядя на эту адептку селфи.

Сквозь зеркальную витрину на нее посмотрел фарфоровый клоун. Он держал руку у рта, глаза были чуть вытаращены, в руке на вытяжке болтался горшок.

Она: его тошнит?

Смотрительница: почему это тошнит («все понятно» — в новой интонационной внутренней модификации)? Он зеваает... и держит в руке ночной горшок...

Она: горшок полный?

Смотрительница: все понятно... вот еще у нас есть магнитики и календарики...

Она: я возьму клоуна с ночным горшком.

Смотрительница (через паузу): он же вам не понравился.

Она: с чего вы взяли?

Смотрительница: четыреста тысяч.

Четыреста тысяч — это вам не сто тысяч. Имеет ли количество значение? Переходит ли оно в качество?

Она перевела деньги за клоуна, смотрительница старательно упаковала его в крафт и даже прониклась каким-то добродушным сожалением к покупательнице.

Каких только не носит на себе наш земной шар, надо принимать этот мир со всем его великолепием и темнотой. Смотрительница мыслила глобально и хотела философски обобщить весь прожитой день (она была последней посетительницей музея).

Она: до свидания.

Смотрительница: привет Москве.

Она: передам.

Она выходит из музея, заказывает такси, еще раз открывает переписку с хозяйкой квартиры, чтобы уточнить пункт прибытия. И видит:

«Пользователь ограничил круг лиц, которые могут ему написать».

Пользователя зовут фейковым Мирослава Назарова.

Она сочувствует женщине, чьи фотографии используются для создания образа «хорошей хозяйки, любящей своих деток».

Она сочувствует женщине.

Она сочувствует женщине, но не испытывает никакой жалости к себе. Рельсы берут дыхание для первого звука, рожденного из обмана, из тишины.

#### 4.

Она свернула от центра по направлению к частному сектору. Она ничего не припомнила, взгляд переходил от домика к домику, где-то живут, что-то давно заброшено, что-то заброшено, но там продолжается жизнь. Что-то так же, как и она, распадается, как трухлявое дерево слоится и отходит никому не нужными напластованиями. Они становятся бездомными. Тут мог быть и ее дом.

Она вышла к кирпичному одноэтажному зданию, похожему на склад. Да, это городские бани, почему-то во множественном числе, наверное, имеется в виду женская и мужская, она никогда об этом не думала. Она садится на лавочку напротив бань, курит «Айкос», смотрит в кирпичную белую стену. В детстве на таких стенах она любила написать ключом что-то бестолковое, что из года в год будет на этом самом кирпиче напоминать о твоей прошлой бестолковости. Вот что бы она сейчас написала на этом щербатом, податливом к чужим писанием кирпиче?

Ничего. Она не хочет писать ни книгу, ни оставлять следов на кирпиче. Она пока все еще остро ощущает, она хронически предчувствует встречу. Она готовилась к ней все эти шестнадцать лет. И могла готовиться еще дольше, но тут что-то дернуло, и она здесь. Вот это что-то... что оно?

К баням подъезжает мужчина на колесах. У него нет ног, он передвигается на сколоченной доске, помогая мускулистыми руками. Мужчина буднично подъезжает к баням, она смотрит на него и курит, ей кажется, что она могла бы чем-то помочь мужчине на колесах, но он всем своим видом воплощал мужество, его концентрат, он вернулся с войны, думает она, впрочем, разве это важно. Мужчина достает сигарету из нагрудного кармана, зажимает ее в губах (концентрат мужественности сгущается), по его движениям она понимает, что он ищет зажигалку, по его движениям она понимает, что он не может ее найти. Мужчина на колесах едет к ней, она идет на опережение и роется в своей сумке, где должна была быть зажигалка.

Мужчина на колесах: огонька не найдется?

Она: сейчас... должна где-то быть...

Мужчина: покорно вас благодарю.

Она остановила поиск, посмотрела на него. Теперь он был на расстоянии вытянутой руки. Загорелый, выжженный на солнце. Коричневые ресницы. Желтоватые зубы. Щетина, шрам над бровью. Комар, севший на лоб.

Она: у вас комар.

Мужчина на колесах: пусть пьет мою кровь, мне не жалко.

Она нашла зажигалку, прикурила мужчине.

И ждала, что мужчина на колесах уедет, ей хватило этого взглядывания, концентрат мужественности в ее голове разбавился трагедией на расстоянии вытянутой руки.

Но мужчина продолжил разговор.

Мужчина на колесах: я могу вас попросить...

Она: да...

Мужчина на колесах: я сейчас буду подтягиваться...

Она: хорошо (она не знала, что еще сказать).

Мужчина: вы можете считать, а то я сбиваюсь. У меня три подхода, и потом я пойду... в баню (он смеется, она видит, что некоторые зубы у него отсутствуют, но это не уродует его облик).

Она: хорошо.

Мужчина на колесах: покорно благодарю.

Мужчина на колесах отъезжает от нее и движется по направлению к турнику, который приварен к той же кирпичной стене (она не заметила, подумав, что это газовая или какая-то другая труба). Турник был сделан специально для него, не может быть, что это случайность.

Мужчина на колесах тянется и виснет на турнике. Деревянный ящик с колесами ждет его возвращения.

Мужчина на колесах (кричит, между ними расстояние): ну, поехали.

Он подтягивается. Она смотрит. В последнее время она стала видеть не так хорошо вдаль, списывала на последствия ковида, зрение не проверяла. Мужчина теперь

без колесиков стал силуэтом — то поднимающимся, то опускающимся. Она не думала о его остервенелом упорстве и желании жить, она смотрела на расплывающийся контур его плечевого пояса и считала.

Мужчина опустил на колеса, тяжело дыша, и крикнул: «Сколько?»

Она: пятнадцать.

Она крикнула, ее голос показался ей визгливым.

Мужчина на колесах: можно еще два подхода?

Она: да, да, конечно.

Она закурила первый стик и сразу начала второй. Она смотрела на расплывающегося мужчину, старалась считать, но внутри нее крутилось что-то необратимое, как будто открыли ту самую балконную дверь, и тюлевая занавеска вырвалась, сорвалась с карниза и улетела в небо.

Мужчина на колесах: сколько?

Она не считала и сказала наугад семнадцать.

Мужчина на колесах: спасибо! Я дальше сам...

Мужчина сделал третий, заключительный подход, делал в «отказ», она не считала, она думала, куда улетела тюлевая занавеска. Ей казалось, что она летит так по неопознанному маршруту вот уже шестнадцать лет. Мужчина на колесах поехал, как и планировал заранее, в баню. Она начала думать, как он один справится с душем и есть ли в бане душ (она ни разу не была в городских банях). Он справится. Она уверена. Открыв заметки в телефоне, она пытается написать обрывок какого-то будущего текста:

Если ты вспомнишь, как ты бежала

По какому маршруту, мимо каких домов

Если вспомнишь, то сможешь повторить этот маршрут, но только в обратном направлении

Если ты приедешь туда, откуда убежала

Шестнадцать лет назад, ты...

Тут она останавливается. Не успев начать бежать. Она сможет повторить тот прежний маршрут, но сейчас ей хочется отмыться. Нет, она не пойдет в городские бани, она примет душ в своей московской квартире, перспективы ночевки в Талдоме отменились, а ей так был нужен этот пустой день на принятие, на обживание себя в этом пространстве. Она честно ждала, что город выплюнет ее, стоит ей только ступить на его землю. Ее обманули, попытка засчитана, но она все еще здесь.

Если ты вспомнишь, как ты бежала

По какому маршруту, мимо каких домов

Лишь только тогда ты сможешь уехать отсюда

Не делай вид, что ты помнишь

Заставь себя вспомнить заново, освободившись от прежней памяти

За шестнадцать лет память обросла тобой

Освободи ее от себя

Предъяви себе самой память очищенную

Предъяви себе саму себя до распада

Она стирает все написанное и слышит шум поезда. Она слышит песню рельсов, отдаленную ноту, набирающую crescendo. Эта нота тянется так долго,

Эта нота расплывается и становится расфокусом ноты. Сколько эта нота длится?

Если бы она попросила мужчину на колесах помочь ей посчитать длительность этой ноты, справился бы он с этим заданием? Он бы справился. Она бы сбилась.



## 5.

Когда она идет по заданному памятью маршруту, а не бежит, как шестнадцать лет назад, она чувствует, как собирается с каждым шагом: с мыслями, с телом, кажется, что эти мысли, живущие пока еще своей жизнью и не беспокоящие ее, и есть основной цемент новой сборки. Она идет вперед, поворачивает в нужных местах, смотрит себе под ноги, чтобы не наткнуться на камень, крапиву или змею, она не знает, водятся ли в этом районе змеи, змея бы могла все испортить.

Так бывает, когда боль чуть отпускает. Ты почему-то даешь себе право забыть об этой боли и бросаешь себя в новое неизвестное, иными словами — идешь на новую боль.

Она видит двух мужчин, идущих ей навстречу. Она решает свернуть с заданного маршрута, решив для себя, что она заблудилась. Это не так. Двое мужчин — она будет их называть — отец и сын. Она слышит обрывки их разговора, сын называет отца отцом, отец называет сына пи...ком. Пи...ку чуть больше двадцати, возраст отца не определяется с первого взгляда, границы его размыты алкоголем.

Она спрашивает отца и сына, пока не разделяя их друг от друга, как пройти на станцию. Она решила уехать, ей кажется, что у нее не хватит сил, она испугалась процесса сборки, у нее давно этого не было. Она вдруг перестала распадаться и ждала, когда начнется рецидив.

Сын: идите за нами, мы тоже на станцию.

Отец идет, опустив голову, он тоже, как и она, смотрит себе под ноги, он говорит с сыном, сын говорит с отцом, этот разговор начался не сегодня и не кончится никогда. Она идет сзади, становясь для них невидимой и безынтересной. Ей даже кажется, что она умерла. Зачем-то поздоровалась с женщиной, собирающей красную смородину.

Она: здарсьте! Пospела?

Женщина: давно, месяц уж, как надо было убраться.

Она кивнула, а женщина, поправив платок, склонилась над кустом.

Она, видимо, видима.

Сын: я вчера посмотрел фильм «Страсти Христовы».

Отец: и че (тут отец матерится, но Она хочет фильтровать мат, она ничего не имеет против мата, но здесь она его фильтрует, вместо мата она слышит хор цикад и кузнечиков tutti, раздающийся из высоких трав по обе стороны дороги)?

Сын: я посмотрел и понял, что человек — самое главное Чудовище на свете.

Отец: а то... я тебя чему всю жизнь учу?

Сын: кого ты учишь? Что пьешь, ты этому учишь?

Отец: притормози... и налей.

Сын достает из авоськи пакет из-под кефира, в котором спрятан шкалик. Наливает в пластиковый стакан.

Сын: еще два дня такой жизни у тебя... а потом тебя Витя прокапает, кодировать пока тебя не будем, понял?

Отец: да... ты че орешь на меня?

Сын: да я не ору...

Какое-то время они идут молча. Отец сплевывает в кусты, закашливается.

Сын: тебе бы вообще в больницу лечь... обследоваться... я хотел к тебе Арину привезти, внучку твою, а как я ее к тебе привезу...

Отец: да я за Аринку тебя самого убью, понял? Я все для нее сделаю.

Сын: ты бы мог уже дважды ремонт сделать в квартире. С нуля. Не для себя, для внучки. Почему не сделаешь?

Отец: нет сил, понял? Вот что мне делать, скажи: сидеть смотреть телевизор? Он мне... (Хор цикад и кузнечиков.)

Сын: ремонт делать...

Отец: приезжай, будем делать вместе.

Сын: у меня работа... я хотел тебе на все лето Аринку привезти, так у тебя вся квартира в клопах. Ее тогда искусили всю.

Отец: я клопов всех вывел. Нет у меня их. Они не кусаются.

Сын: тебя не кусают, потому что ты весь проспиртован.

Отец (долгий хор цикад, кузнечиков и клопов, не умеющих петь, но играющих на тарелках, блямс, блямс, такие громкие клопы).

Отец и сын снова остановились. Снова повторение ритуала разлива. Отец снова закашливается, сын предлагает ему закусить кальмаровым салатом (в контейнере), отец отказывается, ссылаясь на то, что всю жизнь пил и будет пить (сказано вопросительно для самого себя), не закусывая. Потом смеется, и долго смеется.

Сын: че ты ржешь, вот скажи, че ты ржешь?

Она смотрит на их штаны: у Отца классическое синее трико с белыми полосками по бокам, у сына — абибасовские спортивные. Она — почти невидимая — слушает, как разговаривают между собой трико и абибас.

Она тоже хочет, чтобы ей было весело, ей кажется, она это заслужила. Пытаясь развеселиться и сменить оптику, она загоняет себя еще дальше в тупик отчаяния, если бы было можно, она бы сейчас выпила, прямо из горлышка.

Отец: ты знаешь, кто самое жестокое животное?

Сын: ну...

Отец: бегемот... если бы мы встали у него на пути, он бы тебя сожрал.

Сын: и тебя... проспиртованного.

Отец (смеется): и женщину, идущую за нами... она все еще идет?

Сын: ну идет, и че? Она к станции идет, как и мы.

Отец спотыкается на камне, сын успеваеет его подхватить.

Сын: бать, ...бать-копать... все, харэ на сегодня, нам надо еще до Звенигорода доехать.

Отец ничего не отвечает, идет до станции молча.

Сын: вон станция!

Она: да, спасибо, я поняла. Нужна ли какая-нибудь помощь?

Сын (с наездом): в смысле?

Она замечает, что у него уши торчком (она знает, как это). И что он выглядит старше своих лет, а глаза совсем юные.

Она: нет, ничего... извините.

Потом она отрывается от них, сменив шаг на легкий бег. Она бежит и чувствует, что снова начинает распадаться. Плевать. Она сплевывает в кусты.

Оборачивается и видит отца и сына. Они отливают за старым паровозом, стоящим на срезанных рельсах, авоська брошена рядом. Лоб отца прислонен к составу, сын держит свободной рукой отца за левое плечо. Они стряхивают синхронно, зачем она на это смотрит.

Она стоит на платформе и держится за фонарный столб. Из подъехавшей электрички (из Москвы) выходит толпа народа. Ей кажется, что все эти незнакомые ей люди вышли из вагона только лишь для того, чтобы ее раздавить, размазать и уничтожить. Она закрывает глаза и еще крепче вцепляется в фонарный столб (не хватает обхвата ладони). Сейчас она бы хотела стать бесплотной и невидимой. Но она, видимо, видима.

## 6.

Вагон электрички почти пуст, или ей только хочется, чтобы в нем никого не было, кроме нее и уже знакомых ей — отца и сына. Она сидит спина к спине к сыну, два оттопыренных уха — ее и его — кажутся одинаковыми. Она читает книгу, точнее, делает вид, что читает. Она смотрит в окно, точнее, делает вид, что смотрит в окно, мелькание домов, деревьев, лесов, полей и рек укачивает ее, тянет в сон, спать сейчас она не хочет. Она слушает голоса отца и сына, ее разморило, и она перестает фильтровать мат в их речах. Хор цикад, кузнечиков и, господи прости, клопов сменяется классическим шумом поезда, так проносится жизнь в самом ординарном метафорическом понимании, этот шум символизирует ее ход и ее смерть, способен все заглушить, за это он многим и нравится.

Отец рассказывает сыну, что он назвал его в честь апостола Андрея. Сын говорит, что отец это уже рассказывал сотню раз: и про крест, и про то, какой апостол был рыбак. Она не знает ничего про крест и дала себе обещание, что загуглит по возвращению в Москву. Она думает, что было вначале — рыбак или апостол, конечно, рыбак, можно ли родиться апостолом, или эта должность назначается, и вообще, какая эта должность — она не хотела спать, она задавала глупые вопросы, ответить на которые мог либо отец (сын бы не выдержал), либо гугл.

Отложив книгу (книга стихотворений Виктора Сосноры, ей нравился этот поэт, она знала не так много его стихов и боялась, что если узнает больше и найдет повторяемость, разочаруется в нем, засомневается, сомнение — цемент ее жизни, поэзии жизни), она открывает заметки в телефоне и пытается что-то записать, но что-то

НЕ ПИШЕТСЯ

НЕ ПИШЕТСЯ

Она опять вспоминает — сто писят, потом четыреста писят. Как хорошо, когда день проходит и есть что вспомнить.

Раздвижные двери вагона разлетаются в стороны, кто-то невидимый заходит. Только потом она увидела, что это мужчина на колесах. Точно он, так же загребаёт руками, как веслами, правда, сменил верх, теперь на нем футболка защитного цвета. В руках гитара.

Мужчина на колесах с гитарой:

— Добрый вечер всем присутствующим. Позвольте вам от чистого сердца подарить песню, которую я посвящаю всем своим друзьям, живущим и ушедшим на тот свет.

Он смотрит секунду на крышу электрички. И начинается гитарный бой.

Она ничего не имеет против песен, почему нет, тем более если идет речь о песнях, спетых друзьями. Но сейчас песня мужчины на колесах была лишней, она перестала слышать отца и сына, несмотря на то, что отец заснул, прислонившись к стеклу (его лоб все время ищет опоры), а сын играет в телефонную игру, по-моему в «фермера».

Мужчина на колесах с гитарой поет (мотив песни напоминает блатной, но последовательность аккордов кажется измененной), все это напоминает стилизацию, игру в блатную романтику:

Теперь — тебе: там, в мастерской, маски,  
тайник и гипс, и в светлячках воздух...  
Ты Галатею целовал, мальчик,  
ты, девочка, произнесла вот что:

«У нас любовь, а у него маски,  
мы живы жизнью, он лишь труд терпит,

другую девушку — он мэтр, мастер, —  
ему нетрудно, он еще слепит!»

Так лепетала ты, а ты слышал,  
ты пил со мной и ел мои сласти,  
я обучал тебя всему свыше, —  
мой мальчик, обучи ее страсти!

Мой ученик, теперь твоя тема,  
точнее, тело. Под ее тогой  
я знаю каждый капилляр тела,  
ведь я — творец, а ты — лишь ты. Только

в твоей толпе. Теперь — твоя вежа.  
И молотками весь мой труд, трепет,  
и — молотками мой итог века!  
«Ему нетрудно, он еще слепит!»

Теперь — толпе. Я не скажу «стойте».  
Душа моя проста, как знак смерти.  
Да, мне нетрудно, я слеплю столько...  
Скульптуры — что там! — будет миф мести.

И тем страшнее, что всему миру  
вы просчитались так, и пусть пьесу  
вы рассчитали молотком — минус,  
мир — арифметика, и плюс — плебсу.

Теперь убейте. Это так просто.  
Я только тих, я только в труд — слепо.  
И если Бог меня лепил в прошлом —  
Ему нетрудно, Он еще слепит!

Она слушает песню мужчины на колесах и допускает страшное: она могла бы в него влюбиться, ей даже хватило бы сил взять его на руки и покачать в такт играемой им песни. Она обезоружена охватившим ее чувством, в такие минуты можно сойти с подножки поезда на ходу и упасть в пропасть и остаться в целостности и сохранности, потому что там, где-то там, ее будет ждать великое спасение.

Она очень устала за этот день. Теперь она это понимает. Она бросает в шапку мужчины на колесах тысячную купюру. Он смотрит на нее, она на него, и ничего не происходит большего, кроме благодарности за песню, кроме жалости ко всему, освободиться от нее в этом контексте она не может.

Мужчина на колесах: спасибо. А это вы мне считали?

Она: нет, моя сестра. Мы близнецы.

Мужчина на колесах: я тоже близнец. Нам со скорпионами нельзя.

И он опустил голову в район причинного места и шепотом сказал ей.

Мужчина на колесах: у меня там все работает. Если бы не работало, я бы себе пулю еще — там — пустил.

Она кивнула, давая понять ему, что все поняла. Потом она уснула, не заметив момент входа в сон (его почти всегда не замечаешь).

В этот раз контролеров не было, никакие реки не текли — ни прямо, ни вспять, пахло вагоном, и ничем другим. В тамбуре ее тронул за плечо сын.

Сын: извините, вы можете заказать нам такси? У меня мобила села.

Она: да, конечно, сейчас остановимся, и я вам закажу.

Сын: вы мне номер напишите, я вам потом бабки переведу.

Она: да, хорошо, подождите, выйдем, и я все...

Сзади напирал народ. Оказывается, в вагоне, кроме них, были еще люди. Она старалась не фокусироваться на их лицах, вспоминая, что ее зрение не такое хорошее, как прежде.

Она: говорите адрес.

Сын: Розанова, семнадцать.

Она: так... четыреста двадцать рублей... машина будет через пять минут.

Сын: вы Зеленоград указали?

Она: ой... извините... так... Розанова.

Отец (включившись, слишком драматически, он еле стоит на ногах): семнадцать...

Сын: простите...

Она: две тысячи шестьсот сорок пять рублей...

Сын (хор цикад, кузнечиков, клопов и других видов насекомых).

Она: я заказала... машина придет к вокзалу через десять минут...

Сын: я вам переведу... напишите номер...

Она: да... конечно.

Она записывает свой номер на листке, вырванном из блокнота. Она, сын и отец стоят на перроне. Отец сидит на лавочке, пытаясь понять, где он, и с кем он, и кто эта женщина.

Отец: это кто? Марина?

Сын: бать, завали...

Она должна уходить, но что-то удерживает ее. В последний раз она смотрит на отца и сына и видит, как же они похожи друг на друга, как два креста. А она — какой-то косо́й крест.

В метро в ее голове крутилась уцелевшая строчка из песни мужчины на колесах.

И если Бог меня лепил в прошлом —  
Ему нетрудно, Он еще слепит!

Она загнула, кто был автором этих стихов. Виктор Соснора. Она знала, что так быть не может, но так было, и она больше не удивлялась. Есть риск вообще больше ничему не удивляться, но она хотела, хотела бы еще. Удивиться.

Распадаться и удивляться

Собираться и удивляться

Распадаться и удивляться

Собираться и удивляться

Отмыться

Она стоит под горячим душем. Ей должно быть хорошо, но становится хорошо не сразу. Потом она слышит вибрацию телефона, потом она берет телефон со стиральной машины. Видит сообщение в ватсапе от незнакомого номера:

«Перевел вам деньги. Дошли?»

Это телефон сына.

Она не смотрит оповещений от банка и сразу отвечает:

«Да».

Сын отвечает:

«Спасибо еще раз». И эмодзи — палец вверх.

Она хочет спросить, все ли в порядке с отцом, но считает этот вопрос неактичным, какое ее дело.

Ночью, лежа в кровати, она набирает сыну сообщение:

«Андрей, извините за позднее сообщение.

Я могу показаться сумасшедшей, но то, что я вам скажу, правда. Я — ваша сестра, у нас с вами один отец. Вчера я видела его второй раз в жизни, первый раз — шестнадцать лет назад».

Она набирает его и удаляет написанное, набирает и снова удаляет, верных слов ей так и не удастся подобрать. Сообщение отправлено в три часа сорок пять минут. Она хотела, чтобы это сообщение было доставлено и обошлось без ответа.

Но сын, вернее, брат ответил почти сразу:

«И что мне, б..., с этим прикажешь делать?»

Она ничего не ответила и попросила хор цикад, насекомых, нет, клопов она не просила, грянуть tutti, чтобы соседи не слышали ее воя. В ее московской двушке в районе Беляево слишком тонкие стены. Слишком.

## 7.

Ты слышишь, о чем поют рельсы  
Они готовы тебя проклинать каждый раз, вот такая у рельсов любовь  
Ты слышишь, о чем поют рельсы  
Ты не сможешь об этом сказать,  
Хоть тебя разрывает  
Кто-то рельсы срезает  
И песня тот час обрывается, песенки нет  
Кто-то рельсы теряет  
Кто-то рельсы прощает  
Кто-то с рельсы съезжает  
И себя недорогого  
Под рельсы бросает  
Кто-то песен не знает  
Кто-то рельсы срезает  
И сдает их в металлолом,  
А на вырученные деньги покупает  
Чистый спирт и пьет его, не разбавляя.  
Неразбавленная срезанная жизнь,  
Я люблю тебя, жизнь,  
Это так ново для меня.

Она не продолжила общение с братом. Ей стало легче, она с головой ушла в свою лаборантскую работу, даже начала писать книгу, набросала план и знала, к чему она должна прийти в своем первом большом тексте, но как это будет осуществимо и хватит ли ей на этот путь сил, она затруднялась ответить.

Шестнадцать лет назад она приехала в Талдом, чтобы сказать два слова — я здесь (в переводе на космический — я существую). И очень хотела услышать в ответ тоже два слова, наподобие — как здорово. И больше ничего ей не было нужно, правда. Она узнала адрес отца, которого не помнила, разрыв родителей был в зачатке ее детства, никаких следов, все фото были выброшены мамой (и она никогда не осуждала ее за это). Парадоксальным образом она не помнила, что она говорила тогда шестнадцать лет назад своему отцу (она запиналась, мямлила, искала слова, они вообще приняли ее сначала за почтальоншу). Она пыталась объяснить, кто она такая группе людей —

отцу, его жене и их сыну, который кричал на руках у матери. Вот именно его крик, крик Андрея, кажется, все и разрушил, но разве можно во всем винить крик, но разве можно винить кого-то, кроме себя, разве все это доказательно? Она себя спрашивала.

Отец был пьян, проблемы с алкоголем сопровождают его всю жизнь, точнее, все проблемы, которые подбрасывала ему жизнь, заливались алкоголем, именно поэтому ее мама ушла от него (пусть будет такая причина, не требующая других подробностей). Андрей кричал, мать укачивала его и странно посматривала на пришлую девицу, пытаясь разглядеть похожие черты (не находила), отец как-то виновато поджимал плечи, а потом сказал нехитрую конструкцию, которую Андрей, видимо, с тех младенческих пор крепко вобрал в себя:

«И что мне, б..., с этим прикажешь делать?»

Жена, услышав это, зажала младенцу уши, но мы-то знаем, что младенец все услышал.

Младенец Андрей, будто испугавшись отцовского напора и гонора, закричал еще пронзительнее. Она, утонув в этом крике и сразу же забыв сказанное отцом (спасибо, память), бросилась бежать по тому самому маршруту, который пыталась повторить сегодня. От того самого дома, до которого почти дошла, если бы не встретила — отца и брата. Если бы Андрей не написал ей свой ответ, она бы не вспомнила, не срифмовала сказанное прошлое со сказанным настоящим. Что будет сказано в будущем? Неужели эта словесная конструкция универсальна и применительна для любого времени ее жизни?

Где-то через месяц, когда она была на работе, разгребая лаборантские дела, ей пришла эсэмэска от брата.

Брат (она так переименовала его в телефоне, ей это было важно):

«Батя умер. Похороны в субботу. Пришли денег, я собираю».

Она тут же перевела деньги, потом уже начала рефлексировать, потом продолжила работать и рефлексировать. Потом брат позвонил ей. По его голосу было понятно, что он пьян, и она поняла, что отец и брат похожи не только внешне, но и голосово. Брат, преодолевая неуправляемость языка, процедил что-то про деньги, что присланного мало, что она — с... неблагодарная, а ее мать — проститутка, а потом из трубки на нее обрушился хор цикад, кузнечиков, и ей стало так легко, этот хор ничего не заглушал, он не был шумовой декорацией, ограждавшей ее от реальности, он был просто хором цикад, кузнечиков, потом к ним присоединились и птицы, где-то вдали послышался шум поезда, все это была увертюра, подготовка к главной песне, которую споют рельсы, они поют эту песню уже давно, но только сейчас она может ее слышать в полной мере.

Вот только надо сделать пару неотложных дел.

Она переводит деньги брату. Этой суммы вполне хватит на похороны, поминки, если Марина, жена брата, возьмет все в свои руки. (Она жалела Марину и по-прежнему не испытывала никакой жалости к себе.) Она не приедет на похороны, посчитав, что ее присутствие там будет лишним. Она всю жизнь была невидимой для отца, осталась так и не узнанной (как и он для нее), главное, что она все же успела сказать ему (ей хочется верить, что это были те слова): я здесь, а остальное как уж вышло.

А брат, обидевшись на что-то (что?), добавил ее в черный список, заблокировал в соцсетях. Она снова глядела на эту знакомую конструкцию:

«Пользователь ограничил круг лиц, которые могут ему написать».

Она улыбалась. «Это какая-то общая для Талдома тема или общая для всего человечества», — думала она и чувствовала, что все вот «это» не еще одна потеря в черед потерь, а приобретение, и сомневаться в этом она не позволит ни себе, ни кому-то другому.